КЛАССИКА В ШКОЛЕ

Б. К. Зайцев

Чехов

Борис Константинович Зайцев

Чехов

Серия «Классика в школе»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2522895
Чехов : повесть/Борис Зайцев: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-52339-9

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения, изучаемые в начальной, средней и старшей школе. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включена повесть Б. К. Зайцева «Чехов», которую изучают в старших классах.

Содержание

Даль времен 4
Труба 11
«Доктор Чехов» 17
Рост, первая слава 23
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Борис Константинович Зайцев
Чехов

Даль времен

Какая-то Ольховатка, воронежская глушь в Острогожском уезде, места дикие и бескрайние. Лишь с XVII века начинают они заселяться. И вот к XVIII возникает имя, первое в народной тьме: Евстратий Чехов, поселенец-землепашец в этой Ольховатке, пришедший с севера. Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землею и народом неразрывно, – в пяти поколениях свыше полутораста Чеховых. В Ольховатке стало тесно, но вокруг простор, Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них: Емельян, Евфросиния, но есть и проще, Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род, во всяком случае, своеобразный, с уклоном иногда и необычным: внук Евстратия Петр бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма – храм и построил в Киеве. А племянник его Василий стал иконописцем: сельское хозяйство не занимало его.

Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи в ней владыка. «Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой. Дожил он до глубокой старости» – так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранична.

Легендарный туман редеет с Егора Михайлыча, его сына. Это уже дед Антона Павловича. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретился с другим графом, Толстым, и сыграл в жизни его такую роль.

Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова, там и отбывал «триденщину». Потом стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом «нашего» Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств. Чертков отпустил ее в придачу: Егор Михайлыч был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что естественно получил это увенчание.

Сам же, на старости лет, обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в шестидесяти верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы – великую свою Родину.

* * *

Наверно, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, «чистое» лицо, в большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Просматривая книгу бытия его, узнаешь, что таков приблизительно он и был.

Не легок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего девятнадцать лет, он, разумеется, очень добросовестный счетовод – недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых, но под обыден-

щиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку, будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом, но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы.

Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое – даже на старческом портрете – лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано: «Одинокому везде пустыня».

Когда отец увидел ее у него, он сказал: – Павла надо женить.

И женили. Был ли это брак по любви, или «тятенька приказали», только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери моршанского купца Морозова (в Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастий в семье).

Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был – из-за характера мужской половины: резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде, – муж владыка неограниченный, «Домострой» в полной силе.

Евгения Яковлевна была тише, мягче и сердечнее мужа. Образования не ахти какого, высоко-религиозная и безответная, много читавшая и всегда добивавшаяся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткою тенью прошел чрез всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелихове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра. «Талант в нашей семье от отца, – говорил Антон Павлович, – а сердце от матери».

Семья их была большая. На семейной группе видно целое подрастающее племя молодых Чеховых – Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша, та Мария Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату, пережила всех и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову.

Ее милое лицо с карими умными глазами помню и в Мелихове, и в Московском литературном кружке полвека назад.

Наконец, появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью, – Антон Чехов.

Именно жизни, стихии он много наследовал от предков, да и упорства. Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства, довольно сурового.

В гимназию города Таганрога – скучное двухэтажное здание со скучными учителями, попадает он рано, учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все, в сущности, ему мешает, поддержки никакой.

У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера. Торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, но и сами мальчики Чеховы. Когда отцу надо уходить вечером по делу или в церковь ко всенощной, за кассу сажают Антона или Александра. Антону надо учить латинские предлоги, а он в холоду сидит в лавке, получает деньги, дает сдачу за фунт селедок или четверку табаку, мерзнет, иной раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да надо еще следить за Андрюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. А они всё-таки обвешивают. Объяснение же такое: «иначе и Павлу Егорычу пользы не будет». Тащили по мелочам и себе – мыло, помаду, конфетки. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось. Но за какие-то провинности сек отец и его, и это осталось на всю жизнь: горестная черта

детства, сближающая его и с Тургеневым, только там занималась этим мать, а тут мать не обижала, но и заступиться не умела. Да и как заступиться? Павел Егорыч сам был воспитан сурово, считал, что так и нужно, считал, что труд, порядок, подчинение необходимы, и действовал прямолинейно, убежденно. Сила его была именно в убежденности. Как твердо верил он в Бога, так же твердо и в то, что с детьми нельзя быть мягким. Не рассчитал только одного, что времена меняются. Все Евстратии, Емельяны, Егоры, их склад и образ воспитания отходят. И когда самоуправствовал в таганрогском домике и в своей лавке, вряд ли думал, что на склоне лет в Мелихове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом.

Чехов Антон с ранних лет видел жизнь такой, как она есть: оранжереи не было. Видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного. Целый ряд фигур, лиц, разговоров проходил пред ним. Покупали в лавке и чиновники, и служащие, бабы и монахи, греки таганрогские и заезжие чумаки, и крестьяне. Мальчик же от природы был очень наблюдателен, склонен к насмешке, изображению в лицах, с дарованием и театральным. Многое впитал в себя со стороны комической. Но и драматической: с ранних лет зрелище неправды, грубости и насилия ранило – так прошло и чрез всю жизнь. Чрез все писание Чехова прошел некий стон подавленных, слабых, попираемых сильными – к концу его жизни это и возросло. Горькое детство дало ноты печали и трогательности в изображении детей: не из таганрогской ли лавки родом и тот – позже прославленный – Ванька, изнывающий у сапожника подмастерьем, который скорбь десятилетней души изливает в письме: «дедушке на деревню» (это адрес. По раздирательности мало чем уступает Достоевскому).

Великая горестность заключалась и в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но был даже достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень поднимавшими его над окружающим. Пусть религиозность его была уставщическая, больше форма, чем действительный христианский дух, все же нравственная основа в нем крепка, он выше окружающего: верит страстно, всегда увлекается; в нем был и фанатик. Церкви до конца предан, церковное пение любил чрезвычайно. Это не давало никаких прибылей. Вероятно, даже обратно. Жизнь, однако, для души с художнической жилкой состоит не из одних круп, керосина и сахара.

В Таганроге был и Собор, и другие храмы с певчими и хорами. Но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер.

Во многом он этого и достиг, проявив упорство огромное. Не он один, впрочем, в этом захолустном Таганроге оказался энтузиастом. Хор свой составил из местных кузнецов, простых, неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал им на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов же. Но голоса у них были грубоватые; женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей: Александр и другой брат – дисканты, Антон альт.

По словам Александра, у Антона почти не было голоса, но это, кажется, сильно преувеличено. Во взрослом виде, много позже в Мелихове, Антон Павлович даже любил петь (в хоре, конечно), у него был басок, и вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, отцом и другими, на смущение российских интеллигентов девяностых годов, они исполняли разные церковные песнопения.

Брат Александр очень мрачно изображает их певчество в детстве. Конечно, много было тяжелого – принудительность, утомление, суровый характер отца. Дети не были энтузиастами, как кузнецы. Детям хотелось игр, резвости, свободы. А приходилось кроме ученья и работы в лавке еще упражняться в пении, петь в церквах – хор Чехова приобрел известность, и его охотно приглашали и в Собор, и в греческий монастырь (тем более что и кузнецы, и лавочник с детьми пели бесплатно).

Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно, и в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь в Церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от Церкви, создающее будущих маловеров. Он переусердствовал. Плод получился не тот, как бы хотел он.

И все-таки, все-таки… – если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте сидел где-то в глубине и поэт (а откуда он взялся бы ни с того ни с сего позже?) – неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял «Иже херувимы» или «Чертог Твой вижду»? Не могло ли быть ведь и так, что *наружный* гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как кобчики кормят детенышей в решетке окна, и думал – поскорей бы отпеть, удрать к морю ловить бычков с рыбаками или гонять голубей, но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее, это увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего, может быть, сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукою заменить религию, и сам не очень-то понимал.

* * *

Зимой холод, метели, страшные азиатские ветры, летом пыль и такая жара, что спать по ночам в комнатах невозможно (юные Чеховы устраивали себе в саду балаган и там проводили ночь – Антон спал даже под кущей дикого винограда и называл себя «Иов под смоковницей») – таков Таганрог с запахом моря, рыбы, греков, с прослойкой армян, может быть, и казаков. Захолустный и скучный южнорусский город.

Несмотря на все строгости отца, летом подрастающее племя Чеховых все-таки жило вольней, слоняясь по прибрежью с рыбаками, иногда отправляясь к дедушке Егору Михайлычу за шестьдесят верст в имение Платова. Ездили не по-барски, а на подводе, часть пути шли пешком, дурачились, забавлялись – в этих поездках открывалась, однако, для Чехова, за шуточками и остротами, степь, окружение родного Таганрога. Он о ней скажет позже по-настоящему. Она и выпустит его в большую литературу.

А в ней самой кроме красоты природы приоткроется для него красота нежной женственности. На армянском постоялом дворе, где-то под Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, появилась она в облике юной армяночки – появилась, вызвала в гимназисте таинственную грусть и исчезла. Было это только как молния, однако запечатлелось.

Повседневность же шла по-прежнему. Готовила молодым Чеховым тяжелое лето.

В Таганрог провели железную дорогу. На окраине города появился вокзал. Дела лавки Чехова пошли хуже – возчиков и чумаков стало теперь меньше. Со свойственной ему фантастичностью Павел Егорыч решил, что у вокзала, где уже появились кабаки, надо открыть вторую лавку. Приедет человек, выйдет из вокзала, зайдет в кабак, а тут рядом и лавка – глядишь, что-нибудь купит.

Все так и сделал. И посадил торговать Александра и Антона – благо лето, в гимназии они не заняты.

Получилось совсем скверно. И для юношей, у которых пропал летний отдых, и для Павла Егорыча: лавка не пошла вовсе, выручки никакой, к осени оказался чистый убыток. Прежняя лавка хирела тоже, Павел Егорыч запутался и с другими делами.

В 1875 году Александр и Николай уехали в Москву учиться – в университет и Училище живописи (Николай тяготел к художеству). Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма.

Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы.

* * *

Они не были легки. Во многом даже прямо трудны, но явилось и новое, возбуждавшее и освежавшее: свобода. «Одинокому везде пустыня» – отцовский девиз будет сопровождать Чехова-сына всю жизнь, но сейчас, в ранней юности, одиночество это – освобождение. Оставалось начальство лишь гимназическое, условное и профессиональное, в часы занятий. Нет самого главного: ежедневного домашнего гнета. Это и облегчало. Чувство же семьи не ушло. И никогда у него не уйдет. Во всей жизни Чехова удивительна прочность этого чувства, внедренность долга пред «папашей», «мамашей», сестрой, братьями.

Может шестнадцатилетний круглолицый, приятного и здорового вида юноша любить больше мамашу, чем папашу, все равно и за тысячу верст одинаково обеспокоен их неустроенной, тяжелой жизнью в Москве, как и трудностями Александра и Николая. Надо помогать. Рассуждать нечего, нравится или не нравится: родители, братья, сестра Маша должна учиться, – значит, надо работать и вывозить. Но делать это может он теперь самостоятельно. «Поддерживать буду, но так, как мне самому хочется» – в этом роде мог говорить в сердце своем гимназист Антон Чехов, отлично учившийся и дававший еще уроки: они его и кормили, от них он и посылал кое-что в Москву.

Пришлось, однако, увидать и много горестного – в другом роде, тоже нелегкого.

У Чеховых был в Таганроге свой небольшой дом, там Антон Павлович и родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 руб., под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом в собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал – времена все-таки были уже не гоголевские, – неизвестно. Предпочел уехать в Москву и бедствовать там, сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем и вот каким приятелем оказавшегося.

Какую-то каморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него и еще уроки.

Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно и сумел основательностью своею и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе подсмеивались, на репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов он завоевал даже своего хозяина – тот стал относиться к нему почтительно, шестиклассника называл Антоном Павловичем.

Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно, младшему брату Михаилу, многого стоит. «Зачем ты величаешь свою особу «незаметным братишкой»? Ничтожество свое сознаешь?» «Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед Богом; пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми[1]. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный

[1] Советский биограф Чехова выпустил фразу о Боге, красоте и природе.

человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай «смиряться» и «сознавать свое ничтожество».

Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство перед людьми – от этого и взрослый Чехов не отказался бы.

Приведенный отрывок – редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем: «Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью (прелестно это «с научной целью». – Б. З.) и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки».

Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущий Чехов, сдержанный, полный самообладания: сентиментальностью его не возьмешь.

«Прочти ты… «Дон Кихот» (полный, 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром».

Очень мило одобрил, но без восторга («хорошая вещь»). И о братце тоже хорошего мнения, если думает, что «полный» Дон Кихот не покажется ему скучным. Да и предполагает, что «Шекспир» что-то говорит.

Во всяком случае, письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое – для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое.

С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор, в гости. Летом он и отправился, пробыл там некоторое время.

Степь, дикие сторожевые собаки, простор, первобытность. Петя научил его стрелять из ружья, ездить верхом, скакать на отчаянных степных жеребцах. Надолго казацкий и охотницкий стиль не мог в нем, конечно, удержаться, но эта любовь к земной стихии, жизни в разных ее преломлениях в Чехове была вообще – ему всегда нравилось странствовать, видеть новое, новое переживать. А это были те годы, когда о будущей его болезни невозможно было и думать. Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе.

Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние.

Вот стоит он в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение – может быть, у того же Пети Кравцова. (Но сам Петя вряд ли мечтательно разглядывал бы себя в таком зеркале. Это занятие больше идет юноше Чехову – с одной стороны и веселому, живому, насмешливому, а внутри у него нечто и вовсе другое.)

Стоит и задумался. Подходит пятнадцатилетняя девочка, пришла за водой. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал». Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южнорусской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать, – взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно.

* * *

Из Москвы вести шли плохие. Родители и братья бедствовали. Доканчивая учение свое, будучи уже автором пьесы «Безотцовщина», издавая журнальчик «Заика», гимназист Антон Чехов собирал грошики, распродавая остатки отцовских вещей, прикладывал свои собственные трудовые и посылал в Москву. Писал и братьям, и родителям. Последним както довольно странно: Евгения Яковлевна даже обижалась на его шуточки.

«Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас это время только было 4 коп. и на хлеб и на светло[2] ждали от тебя не пришлешь ли денег, очень горько… у Маши шубы нет у меня теплых башмаков, сидим дома».

«Антошины» письма не сохранились. Нельзя представить себе, чтобы он не верил (как думала Евгения Яковлевна), что они в нужде. Вернее всего, балагурством только прикрывался: никогда не любил высказывать чувства прямо. Предпочитал закрываться. На этот раз – остротами.

А Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему:

«Скорей кончай в Таганроге ученье да приезжай пожалуйста скорей терпенья недостает ждать и непременно по медецынскому факультету, сашино занятие ненравится нам, присылай наши иконы понемногу еще скажу антоша если ты трудолюбив то всегда в Москве дело найдешь и заработаешь деньги.

Мне так и кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».

Она с детства его отметила и угадала правильно. Одного он, однако, не мог сделать: кончить гимназию раньше, чем его выпустят и дадут аттестат. В остальном «кажетца» Евгении Яковлевны оказались действительностью.

Весной 1879 г. он кончил «учение», получил даже стипендию города Таганрога, сразу за четыре месяца, сто рублей – сумма по-тогдашнему немалая, и уехал в Москву.

[2] «Светло» на языке Евг. Як. означало «освещение».

Труба

На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь, по названию Трубная, или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, болонку, ежа. В весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы – все жило рядом. Огромный и великолепный «Эрмитаж» на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу, дальше разные первобытные Самотеки и Грачевки. Люди мира Островского, допотопные конки и наглые лихачи у «Эрмитажа».

На взгорье, близ Сретенки и Маросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от Трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтором, он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряженных выносных шагом спускались к Трубе, ожидая следующего вагона.

А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы – кабаки, притоны.

Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож. Если иной раз у Евгении Яковлевны оставалось четыре копейки и она горестно сообщала об этом «Антоше», то Павел Егорыч, первое время нигде не находивший работы, при всей нищете своей оставался в семье таким же величественным и важным. Так же любил церковь, пение, архиереев, так же оставался владыкой дома.

Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже, убого. Спали вповалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье (тетушка Федосья Яковлевна, о которой скажет потом Антон Павлович: «святая женщина», из опасения пожара и что не успеет выскочить, спала momnia sua, т. е. не раздеваясь, «и даже в калошах»).

Бедствовали, ссорились, упрекали друг друга, упрекали Александра, что мало помогает… – Александр же, долговязый, с нескладным лицом юноша, сообщал в Таганрог Антону, каковы доходы его: «за 3 листа начертательной геометрии б р., 2 листа дифференциалов – 4, переписка 3-х л. химии 3 руб. = 13 руб. Из них родителям 5, сестре башмаки 2.50. Стол стоит 7 руб., квартира 6 р., освещение и белье 2 р. Чтобы уничтожить этот минус, спущены плед и часы» (заложены).

А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка:

«Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве» (будто из раннего юмористического рассказа Антона Чехова). Но это не юмористика. Сыну Ивану – ему 17 лет – вставать тогда-то, делать то-то.

«Чехов Михаил 11-ти лет, Чехова Мария 14-и лет. – Хождение неотлагательное ко всенощной в 7 ч. в. К ранней обедне в $6^1/_2$ и поздней в $9^1/_2$ ч. по праздникам.

Примечание. Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию.

Отец семейства Павел Чехов.

Неисполняющие по сему расписанию подвергаются сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается».

Но вот последнего не так легко достигнуть. Происходит, например, ранним утром ссора «отца семейства» с «членом семейства» Иваном Чеховым из-за каких-то штанов. Штаны висели в сарае, надо было идти за ними… – одним словом, на дворе дома на Грачевке Павел Егорыч ударил сына, а тот примечания не послушался и завопил. Вышло вроде скандала. «Сбежались и другие члены семьи, и хозяева дома пристыдили отца. За сим последовало со стороны хозяев объяснение и внушение с указанием на ворота».

Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки: они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно. Считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения, с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был – уступил и переселился к ним, вместе с собакой своею Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. «Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал жить, обитает «жилец».

Но прошло время, и некоторые корни он пустил.

Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я… обзавелся птицами певчими всех сортов и видов. Штук до 40; летают на свободе по всем комнатам. Радуют меня и всех».

Одного Корбо, пса, оказалось мало. Близость Трубы и птичьего рынка дала себя знать – Александр впал в птичничество. Но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так неблестящее жилье Чеховых! Только что щебет утешал.

В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антоние» или: «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович!» Но рядом: «Regis coelesti olechus»[3] – остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к «достопоклоняемому братцу», собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить. В них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание.

Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в «Будильник» по почте две твоих «остроты». Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные бесцветны».

Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатушке Селиванова, вещь более (для него) серьезную: драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру и сохранил первую рецензию на первое свое произведение, – должно быть, оно что-то для него значило.

Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные Regis coelesti olechus, прочитал пьесу основательно, со всею внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь… (Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально». – Б. З.) Но в общем она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма ложь – ты сам это чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а

[3] Олух Царя Небесного.

между прочим, ты затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь».

Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет «ложь», но какую-то такую, что мимо нее не пройти и даже вот две сцены «обработаны гениально».

Так же, как на семейной группе круглолицый, с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской «Безотцовщине» чувствовал, разумеется, Александр некое «неспроста». Так же всегда чувствовала материнским сердцем Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в «Антоше».

«Мне кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».

* * *

Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых.

Павел Егорыч отодвинулся. «Расписание делов и домашних обязанностей» не висело уже на стене. Сам он получил наконец место – очень скромное, но все-таки место: конторщика у купца Гаврилова, в Замоскворечье. Там и жил, с приказчиками. Получал тридцать рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни – мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами Трубного рынка. Но дома не мешал.

Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям, привез с собой целый капитал – сто рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую, также на Грачевке, в пять комнат. Теперь спали уже не вповалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился – он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника таганрогского по имени-отчеству: Антон Павлович.

Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и красношекого, с обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки, и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. Восьмидесятые годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу.

Но этот, будто с ленцой, неуклюжий молодой человек совсем не ленив – напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и мятущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон – удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбия, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стуколкой – смешной провинциальной игрой того времени, но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно.

Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему несвойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно-ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель: выбиться самому, вытащить и семью, всё наладить, поставить благообразно.

Университет и наука давали ему, после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую *религию науки,* так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли «Братья Карамазовы». Юный, но уже блистательный Вл. Соловьев восходил над горизонтом, Чехов же питался лекциями Склифосовского и других со всей страстностью провинциала, которому Москва восьмидесятых годов с конками, Трубой, «студенчеством», распевавшим по ресторанам на Татьянин день Guadeamus igitur, – всё это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира.

Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьиными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалась в Таганроге «Безотцовщина», устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над «Без вины виноватыми». Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий – Малый театр блистал тогда, был у театра этого и первейший драматург – Александр Николаевич Островский.

(Можно думать, что единственно, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр.)

Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением?

Из Таганрога он присылал Александру «остроты». Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы – печатать их начал уже без Александра: редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чехонте». (Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель – явление довольно странное и редкое для тех времен: не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова.)

Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей.

И в какой среде приходилось начинать! «Будильники», «Стрекозы», разные другие ничтожества. Среди них «Осколки» Лейкина считались уже «чем-то», как и сам Лейкин.

На фотографии изображен средних лет, плотный, в бороде, здорового и «русского» вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода, в молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В шестидесятых годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе: «Наши за границей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано, ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с Трубы. Не так давно «старшим» был для него брат Александр, теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чехонте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то «осколочный» жанр – Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова… Да что тут осколочного и интересного?» – так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал?

Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорей даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, «Осколки» действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, сметка. Журнальчик читали. И платил он лучше других (но тоже мало). Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал. Несмотря ни на какие студенческие вечеринки, Татьянины дни, gaudeamus, на стуколку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки.

Братья Александр и Николай были натуры артистические и богемные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне, как всегда, одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику – просидит ночь, а напишет. И свезет на Николаевский вокзал, прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать (с дачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург «с богомолкой»).

* * *

Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивился, будто смутился: чуть не до тысячи номеров. В книги попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880-го по 1888 год в пяти книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые, число же рассказов по годам падает – как температура у больного: 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней – юморист, как и полагается, оборачивался меланхоликом.

Но во время Трубы это были еще мелочи – некоторые исключительны по блеску. Рассказиком «В бане» обычно открываются собрания его сочинений. (Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как ни даровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно.)

Географически и в бытовом отношении Труба отозвалась в двух его рассказах. Один так и называется: «В Москве на Трубной площади» – зарисовка Трубного рынка, очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил. Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по Трубе не раз бродил – это совсем близко от Грачевки, – все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка.

«Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. – Положительности нет в этой птице, – говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. – Он теперь поет, это верно, но что же из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, если можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит. Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…»

Университет, наука, медицина – само по себе, но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудаки-любители, солнце Москвы над Трубой – это другое и это собственно *жизнь,* ему она и ближе и нужней. Юным, острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать», и чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии, тоже маниак, которого называют здесь «Ваше местоимение» (начало дальнейших чеховских словечек). Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия – такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не «Безотцовщина». Тут учить нечему.

Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее и у самого Гаршина.

Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент-медик уговорили студента-юриста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента. А видел он самое обыкновенное, будничное мира сего.

Все происходит в известном тогда Соболевой переулке, сплошь состоявшем из притонов, – в двух шагах и была та Грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве.

Рассказ мрачен и тяжек. Несколько a these, и это выпирает – против проституции. Сам Чехов находил, что он «отдает сыростью водосточных труб». «Но совесть моя по крайней мере покойна:…воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки».

Суворина он упрекнул, что в «Новом времени» ничего не пишут о проституции. «Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок».

И все же художник в нем неизбывен. Тому же Суворину пишет он позже: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович».

Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем, от этого «Припадка» ведет уже дорожка к «Сахалину» и дальше, дальше: ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо. И не молчал об этом.

* * *

В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом. Кончилась и Трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека, случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно («не чахоточное»). Все-таки… «нездоровье немножко напугало меня», с другой же стороны «доставило… немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей».

«Доктор Чехов»

Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него «Расписание делов и домашних обязанностей», ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов: Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могли приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль – и по медицинской части, и по литературной.

Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора верстах монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба («особенность Нового Иерусалима», отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение).

Недалеко и Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса; средь темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь – св. Саввы Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, и над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден, похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора, света, благообразия.

С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском, у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам; видимо, много и молодежи.

Все они, на собраниях у Архангельского, за самоваром, вели «либеральные разговоры». «Салтыков-Щедрин не сходил с уст – им положительно бредили».

Занимался всем этим, конечно, и Чехов, может быть и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус.

Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде – заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания (на которое он смотрел тогда еще очень скромно). Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами «Хирургия» родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны «Сирена», «Мертвое тело» – приходилось ездить со следователем и на вскрытия.

Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в пяти верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, – и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева.

Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным.

Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен П. Д. Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин восьмидесятых годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах: Бабкино закладывалось и перезакладывалось. Надо было доставать деньги, платить проценты. (Корни «Вишневого сада» именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но «место в банке» Гаева – нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев.) Мария Владимировна, жена его, по культуре – его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей.

В этом Бабкине Чеховы дачниками провели три лета: 85, 86 и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель – собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не «Осколки». Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, – это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами – как г-жа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, – это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И наконец Левитан, вначале живший в трех верстах в деревне Максимовке «на этюдах», снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился «в маленьком флигельке» (были в Бабкине флигеля и большие и малые).

Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы: брат Николай учился с ним вместе в Училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы – подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках, с бантом-галстухом романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец-богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова – сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж.

Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастенику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основание будущей своей славы – век его, как и Чехова, оказался кратким.

С Чеховым все три бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. «Портрет Чехова работы Левитана» показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий «сумеречный» Чехов – скорее народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко.

В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь «Налима» или «Дочь Альбиона», лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку – будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.

Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, «доктор Чехов» прибил над дверью вывеску:

Ссудная касса купца Левитана.

И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле.)

Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его «прогуливает».

«Словно бы легче стало» – жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже – «Над вечным покоем» помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле.

* * *

Кроме Левитана и старших Киселевых были у Чехова в Бабкине и еще приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.

В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям! Ему всего двадцать шесть – двадцать семь лет. Он еще сам кипит жизнью, это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его.

Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумыванье игр, вообще то, что интересно детям.

След внимания и любви, дошедший до нас, – произведение «Сапоги всмятку», милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь; вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей-детей. Мало того что написал – там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой.

Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие.

Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному, у него много прозвищ: Грипп, Коклюш, Коклен Младший, Финик, Котафей Котафеич. Но всегда с сочувствием. «Прекрасной Василисе и любезнейшему Котафею Котафеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита» (1889). «И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина… всего хорошего (1894). Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина…» (1895).

В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской-Садовой, а Сережа поступил в 1-й класс гимназии и поселился у Чеховых нахлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся (не заболел ли? как себя ведет?), вот как изображает жизнь Финика: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого». В конце письма – «поклон Василисе» (Саша жила еще в Бабкине).

Первая его встреча и дружба с детьми – это именно с киселевскими.

* * *

Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу! Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры: весной

уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888-м адрес опять новый: Кудринская-Садовая, дом Корнеева.

На эти дачные переезды сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было: два-три навьюченных «добром» воза с кухаркой наверху на переднем – она держит обожаемого кота, или ей для удобства поставлен диван, она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз.

Господа едут не на этих возах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст: на станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом. «В Еремееве кормили. От Еремеева ехали до города часа 4 – до того мерзка была дорога». Переправлялись через реку, сам Антон Павлович, поехавший вперед (дело было уже ночью), чуть не утонул и выкупался. «Мать и Марью пришлось переправлять на лодке». «В киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж… Ожидание». В Бабкино приехали в час ночи.

Зато само Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда.

Жизнь же семьи в Москве всё больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в «Доктора А. П. Чехова». Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда». «Нужно быть справедливым». «Не надо лгать».

В этой же линии нужно поставить и одно письмо Антона Павловича брату, редкостное в его переписке по серьезности тона и некоей назидательности – чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе.

Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В восьми пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы. Сострадательны «не к одним только нищим и кошкам». Платят долги. Боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, «уважают его». Для него «жертвуют женщинами, вином, сценой». Понимают, что талант обязывает – «они призваны воспитывающе влиять». Соблюдают благоообразие быта: не спят в одежде, враги клопов, не ходят по «оплеванному полу» (уровень окружения Чехова).

Дальше оказывается, что «воспитанные» люди и в любви особенны: «От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью». (Это писал молодой человек двадцати пяти лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком, – детей он любил, но своих не было, а женился в конце дней на актрисе, а не матери и тосковал, что нет ребенка.)

Есть еще добавление: «Они не трескают водку».

Вообще же все в этом письме «очень Чехов». Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. «Воспитанность», «воспитание» тут понимаются очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать: борьба с собой, выработка некоего образа, усилие воли. Воля, то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была, и над собой он много работал – об этом позже скажет жене, – своею жизнью подтвердил заключительные строки письма: «Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды… нужны беспрерывный, дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час».

Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль… – этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя воз-

делывал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога.

Так ли, иначе, письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущественно Николаю, художнику (ему и адресовано).

Оба они, Николай в особенности, оказались в некоем роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали.

Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: пока трезв – тих, добр, скромен. Выпьет две рюмки, начинает врать Бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить… Николай в письме занимает главное место – все эти «уходы» из семьи («с вами жить нельзя»), возвращения, пышные фразы, бестолковщина, столкновения с отцом, художническая распущенность…

Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его.

На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени являет облик захудалого чиновника 80-х годов: жена, много детей, беспросветная жизнь… – а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с «запросами», но недаровитый – семейная одаренность Чеховых блеснула (позже) в его сыне Михаиле, замечательном актере.

Николай теснее связан с семьей, с ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения.

Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало.

* * *

«Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля».

Это пишет молодой врач, адрес его такой: Сретенка, Головин пер. Д-ру А. П. Чехову.

«Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют».

Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу вповалку. У Евгении Яковлевны, случалось, весь капитал четыре копейки, за учение Маши платят чужие. (И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа.)

Теперь явился даже достаток. На извозчика тратит больше рубля в день! Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, пятиалтынный можно было в Москве далеко уехать – от кольца Садовых в центр бесспорно, так что горделивое «больше рубля» понятно: значит, практика уже немалая.

Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан – тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравый смысл были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку, вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая наукой религию, к сложению его облика отношение имела. Да и окрашивала самый характер его образованности.

Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для «писателя Чехова» большой простор.

Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом многие эти земские «материалисты», зачитывавшиеся Дарвиным (сам Чехов зачитывался: «…читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю»), – они-то нередко оказывались ближе к доброму Самарянину, чем иные православные.

Этот завет русского врачевания – нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда: он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадание. Голова могла быть полна Дарвином, из сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны.

Как ни полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго.

Внешних поводов для этого оказалось как будто два: раз вышло так, что больному он прописал лекарство, потом занимался и другим делом, время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство: что-то – то, да не то. В рецепте были граммы, а где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил, проверил в справочнике: да, ошибся. Надо не там поставить запятую, прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо.

Около полуночи, вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко, но не такой был человек Чехов, чтобы успокоиться: добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался.

Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду, под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится: это *слишком*.

Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича, так и скончалась, не выпуская ее. «На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска («Доктор А. П. Чехов») была снята с двери и больше уже не появлялась никогда».

Вряд ли, однако, оставил он медицину (как профессию) из-за таких вещей. Вернее – из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности, т. е. *не* роковое, а случайное, или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь.

Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А «где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоши Чехонте. Но времена Лейкина и «Осколков» кончились, о «Сказках Мельпомены» Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали «Пестрые рассказы», первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта, в коричневом дешевеньком переплете, впервые показала многим (среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному) нового прекрасного писателя: Антона Чехова.

А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался.

Рост, первая слава

«Вы удлинили конец «Розового чулка». Я не прочь получить лишних 8 коп. за лишнюю строчку, но, по моему мнению, «мужчина» в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно».

Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86-м году. Лейкин, из каких-то своих «осколочных» соображений, прибавил ему строчку *от себя!*

С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению – так поступил он и теперь: это издатель, выпускает «Пестрые рассказы»… – а редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить: «все равно».

Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за «Розового чулка» историю подымать не стоит – месяца за два, за три перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы, – послание это вызвало иной ответ:

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния, Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас».

Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно! и как своевременно это пришло – впрочем, в жизни отмеченной всегда в некую минуту и приходит то, что нужно.

Подземно Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с «Розовым чулком». Но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой Вашего сердца, я до сих пор не уважал его». «За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы – и пошла писать! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы».

Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно – но он был еще очень молод, и дело касалось самого для него важного: литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, это, в общем, верно. Но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью, в известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу: конечно, семья – «папаша», «мамаша», братцы, сестра оставались, оставалась какая-то, нам неизвестная, мужская жизнь, но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты: если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Колэ, которая мешала его литературе, – он и разошелся с ней, но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Колэ вообще не видно. Видно одно: писание. Все к этому сводится, остальное придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. (В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски – русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны, о звуке флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко.)

С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской-Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры с шестиугольными как бы башнями – выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае, что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, т. е. перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревца, цветы. Так вокруг всей Москвы (Садовая кольцеобразна, как бы внешние бульвары Парижа).

Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиная, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно. Места достаточно, вся семья устроена прилично.

В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически, тут же все сильней под здоровой наружностью, среди шуточек и острот накоплялось другое, о чем он не говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в писании его. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» – это говорит старик-пастух в степи – разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где – неизвестно («Счастье»). Найти бы его, да вот не выходит.

В очаровательной «Свирели» тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик. И тоже объездчик, отличное у него имя: Мелитон. Разговор меланхолический.

«– Лет сорок я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится. – К чему? – К худу, паря. Надо думать, к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать».

Пастух этот, Лука Бедный, жалеет мир.

«– Земля, лес, небо… тварь всякая – все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадет все ни за грош. А пуще всего людей жалко».

Собственно, из-за чего миру погибать? Но вот Лука находит, что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше, даже «господа» как-то выдыхаются.

Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастеника, все сильней тянет к грусти? Конечно, это не он говорит, а Лука, как и в «Скучной истории» не он, а профессор, как в «Иванове» стреляется не он, а Иванов, – Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может.

Каждая душа задумана по-своему, особенно создана, «Одинокому везде пустыня» прозвучало еще у Павла Егорыча. Антона Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это – печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека?

Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой.

(«Все время, стерва, хвастал и приставал с вопросами: «Вы знаете, моя «Христова невеста» переведена на итальянский язык?») Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, об успехах своих близким иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал.

А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» Всё это весьма невесело.

* * *

Теперь печатается он уже не у Лейкина. В феврале 1886 года появился в «Новом времени» его рассказ «Панихида». С него начинается близость с большой газетой и самим Сувориным – человеком даровитейшим и своеобразным, – близость для Чехова очень полезная

и внутренне (письма к Суворину – самое интересное в его переписке) и внешне: выдвигала его литературно. Это уже не «Осколки».

В том же году, но позже вышли «Пестрые рассказы» – первая книга, с которой «Чехов» и начинается.

Книга имела успех. «Я уже понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами».

Точно бы и подсмеивается, все же приятно. «Корш поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность». Вздыхают и знакомые доктора: медицина им надоела, а вот литература – другое дело.

Поздней осенью он попал в Петербург и там еще сильней ощутил известность. «Целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты». «В Петербурге я становлюсь модным», «Серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает».

Все это естественно. Чехов природно трезв, с большим самообладанием. Но трудно молодому писателю сохранить равновесие. Ему всегда кажется, при первых успехах, что он ось мира. Даже Чехов был опьянен.

Все через это прошли, Чехов еще меньше других, все-таки в чеховских письмах того времени есть самоуверенность, как бывал и приподнятый тон в личных отношениях.

Год следующий, 87-й, только усилил напряжение успеха. Суворин взял у него книжку рассказов. Книжка эта («В сумерках») посвящена Григоровичу, первому «благовестителю», и тоже была принята отлично. Да и как не произвести впечатления – все в ней и ново, и жизненно, и грустно, человечно, трогательно («На пути», «Святою ночью»).

Тою же осенью, в фойе театра Корша, он встретил самого хозяина, Федора Адамовича. Помня Корша, представляешь себе встречу эту довольно ясно.

Похлопывание по плечу – «голуба моя», «мама», тон развязной дружественности – хотя Чехова он мало знал, слышал только, что талантливый молодой писатель, может быть, читал что-нибудь в «Осколках». Вряд ли удосужился прочесть «Пестрые рассказы» или «В сумерках». Но театру нужна пьеса, о молодом авторе говорят, значит, не надо упускать случая. – Дуся, ну что вам рассказики все писать, вы бы нам пьесу…

И возможно, уводит его, обнимая, как всегда делал, к себе в кабинет, тут же при театре, где письменный стол и софа, на которой в свободную минуту любил Корш примащиваться. Здесь разговор более серьезный: нужна пьеса к такому-то сроку, условия такие-то. Условия оказались хорошие (хотя был торг, окончательно сговорились позже: Чехов уже начинал знать себе цену). Но Коршу хотелось заполучить его, а Чехову деньги были нужны. Соблазнял и сам театр – всегда великий соблазнитель писателя, Чехов же и раньше к нему тяготел (кроме детской «Безотцовщины» были у него и другие опыты в этом роде, до сцены не дошедшие. Да и вообще театр его привлекал). Так ли, иначе, предложение он принял.

«Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал».

Сказано просто, но правдиво и жизненно. Человек возбужден разговором, успехом (к нему обращается сам директор), возможностями. Ложится в постель, может быть, и ни о чем не думает особенно. Но темнота всегда развязывает воображение. Некий душевный капитал был или некий склад горючих веществ – поднесли спичку, начался пожар. Вероятно, в ту ночь поздно заснул Чехов. Но пьеса в нем зачалась.

Насколько известно, он долго обдумывал обычно. Писал же быстро. В этом случае и вынашивал недолго, и написал «Иванова» в две недели, вернее, в «десять дней». Акт за актом передавались Коршу для цензуры и репетиций. Это немножко не так, как было позже с «Чайкою», «Вишневым садом». Флобер пришел бы в ужас. Вряд ли одобрил бы и Григо-

рович: Чехов не совсем сдержал обещание, данное благовестителю в письме, – да еще для писания в труднейшей форме, драматической.

Как бы то ни было, явился на свет Божий «Иванов», вовсе не комедия коршевского репертуара, а весьма мрачная пьеса, в тусклых, темных тонах, просто даже безнадежная, выдававшая скрытый и горестный мир автора. Главное лицо – сам Иванов, из лишних людей, российских Гамлетов провинции. Родоначальник его Тургенев, но у Чехова вышло еще острее и горше. Довольно странно: автора, явно идущего в гору, молодого, с большим обаянием, остроумного, баловня дам, влечет к такому Иванову, неврастенику-неудачнику, губящему жизнь жены, чуть было не погубившему восторженную девушку, – под занавес он стреляется.

Сумрачный туман всё время стоит в пьесе, дышать в ней трудно, и вся она идет под знаком неблагословенности. Сам Иванов написан убедительно, есть отличные второстепенные фигуры (Шабельский), остра Сарра, есть проблеск в Саше (тоже наследие «тургеневской» девушки) – в общем же пьесу не полюбишь. Много верного, сильного, мало чеховского обаяния.

19 ноября 1887 года вся семья Чеховых была в театре, в ложе бенуара. Автор за сценой «в маленькой ложе, похожей на арестантскую камеру». «Сверх ожидания я хладнокровен и волнения не чувствую» – это показание подсудимого, и оно хорошо только для не испытавших театрального авторства. Поверить ему нельзя – веришь только в большое самообладание Чехова.

Волноваться было из-за чего. Пьеса шла и с большим успехом, и с сопротивлением. Аплодировали, а иногда шикали. Сестра Мария Павловна чуть не упала в обморок, у приятеля их, Дюковского, началось сердцебиение – вообще в ложе Чеховых «переживали».

Все-таки обошлось благополучно, даже больше. Автора вызывали, на следующих представлениях играли лучше, «Иванов» утвердился в репертуаре.

Сам Чехов находил, что пьеса написана для театра «правильно», по существу же к ней охладел – впрочем, по письмам нельзя судить окончательно: шутливое всегда у него слито с серьезным, и нет уверенности, что он вот так свое внутреннее и выложит. В одном, однако, не ошибешься: «Иванов», теперь кажущийся по формам как раз устарелым, тогда резко выделялся. Может быть, и сам облик Иванова что-то в той полосе России значил.

В декабре Чехов приехал в Петербург. Известность его продолжала расти. Росло и опьянение ею.

«Я чувствую себя на седьмом небе». «Каждый день знакомлюсь. Вчера, напр., с *10½* ч. утра до трех я сидел у Михайловского… в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали. Ежедневно видаюсь с Сувориным, Бурениным и пр. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге».

«Знакомлюсь с дамами. Получил от некоторых приглашение. Пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится «психопатия» (о коей писал Буренин)».

В этот же приезд завел он знакомство с одним из сверстников своих, писателем Щегловым-Леонтьевым. Это не Олимп Михайловского, Короленко и Суворина, а свой брат, милый человек Щеглов, с которым долгие годы был он потом в добрых отношениях. Самая встреча их – какая Россия того времени, и как похоже на литературную молодость людей даже нашего поколения!

Чехов остановился в гостинице «Москва». Щеглов зашел к нему, не застал, оставил записку и спустился вниз в ресторан. Там и дождался его. (Чехова Щеглов никогда раньше не видел.) Вот его описание тогдашнего Чехова:

«Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку».

Через четверть часа они уже дружески беседовали, точно десять лет были знакомы. Разумеется, вкушали, выпивали, хохотали. Из «Москвы» перебрались к «Палкину», там дело пошло еще лучше. В третьем часу ночи, расставаясь у подъезда, называли уж друг друга «Жан», «Антуан».

Сам Щеглов, автор комедии «В горах Кавказа», шедшей с большим успехом, не меньше нового своего приятеля – был русская провинция 80-х годов. «Жан», «Антуан»…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.